

## *Содержание*

<i>Э. Бабаев</i>	
Роман «широкого дыхания»	
	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
	25
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
	153
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	
	291
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	
	421
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	
	513
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ	
	641
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ	
	773
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ	
	883
Примечания <i>Э. Бабаева</i>	
	937

## РОМАН «ШИРОКОГО ДЫХАНИЯ»

«Анна Каренина» поразила современников «вседневностью содержания». Необычайная свобода, раскованность повествования удивительно сочетались в этом романе с цельностью художественного взгляда автора на жизнь. Он выступал здесь как художник и мыслитель и назначение искусства видел «не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (61, 100)<sup>1</sup>.

В 70-е годы один маститый писатель (по-видимому, Гончаров) сказал Достоевскому: «Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное?»<sup>2</sup> Ф.М. Достоевский находил в новом романе Толстого «огромную психологическую разработку души человеческой», «страшную глубину и силу» и, главное, «небывалый доселе у нас реализм художественного изображения»<sup>3</sup>.

Время подтвердило эту высокую оценку. Из статей и книг на всех языках мира, посвященных «Анне Карениной», можно составить целую библиотеку. «Я без колебаний назвал «Анну Каренину» величайшим социальным романом во всей мировой литературе»<sup>4</sup>, — писал Томас Манн.

---

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 тт. М., Гослитиздат, 1927 — 1964. Здесь и в дальнейшем в скобках указываются том и страница.

<sup>2</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 11. СПб., 1895, с. 245.

<sup>3</sup> Там же, с. 248.

<sup>4</sup> Томас Манн. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 264.

Значение романа Толстого состоит не в эстетической ценности отдельных картин, а в художественной завершенности целого.

## 1

«Войну и мир» Толстой называл книгой о прошлом. В начале 1865 года он просил редактора журнала «Русский вестник» М.Н. Каткова в оглавлении и даже в объявлении не называть его сочинение романом: «...для меня это очень важно, и потому очень прошу вас об этом» (61, 67). Толстой мог бы обосновать свое определение жанра («книга») ссылкой на Гегеля, которого он внимательно перечитывал в годы работы над «Войной и миром». Гегель называл книгой эпические произведения, связанные с «целостным миром» определенного народа и определенной эпохи. Книга, или «самобытная эпопея», дает картину национального самосознания «в нравственных устоях семейной жизни, в общественных условиях состояния *войны и мира* (курсив наш. — Э.Б.), в его потребностях, искусствах, обычаях, интересах...»<sup>1</sup>.

«Анну Каренину» Толстой называл романом из современной жизни. В 1873 году, только еще начиная работу, он говорил Н.Н. Страхову: «...роман этот — *именно роман* (курсив наш. — Э.Б.), первый в моей жизни, очень взял меня за душу, и я им увлечен весь» (62, 25).

Эпоха Отечественной войны позволила Толстому изобразить в «Войне и мире» жизнь русского народа великой эпохи как «целостный мир», прекрасный и возвышенный. «Я художник, — пишет Толстой, размышляя над событиями 1812 года, — и вся жизнь моя проходит в том, чтобы искать красоту» (15, 241). Общественный подъем 60-х годов, когда в России было уничтожено рабство крестьян, наполнял и автора «Войны и мира» чувством духовной бодрости и веры в будущее. В 70-е же годы, в эпоху глубокого социального кризиса, когда написана «Анна Каренина», мироощущение Толстого было иным. «Все врознь» — так определил сущность пореформенной эпохи Ф.М. Достоевский. Толстой видел перед собой «раздробленный мир», лишенный нравственного единства. «Красоты нет, — жаловался он, — и нет руководителя в хаосе добра и зла» (62, 25).

<sup>1</sup> Гегель. Сочинения, т. XIV. М., 1958, с. 241.

Если в «Войне и мире» преобладает нравственная целостность и красота, или поэзия, то для «Анны Карениной» становится характерным раздробленность и хаос, или проза. После «Войны и мира», с ее «всеобщим содержанием» и поэтической простотой, замысел «Анны Карениной» казался Толстому «частным», «не простым» и даже «низменным» (62, 142).

Переход от «Войны и мира» к «Анне Карениной» имеет историческое, социальное и философское обоснование. В романе, в отличие от «книги», как об этом писал Гегель, «отсутствует самобытное поэтическое состояние мира»: «роман в современном значении предполагает прозаически упорядоченную действительность»<sup>1</sup>. Однако здесь «снова полностью выступает богатство и разнообразие интересов, состояний, характеров, жизненных отношений, широкий фон целостного мира, равно поэтическое изображение событий»<sup>2</sup>. Круги событий в романе по сравнению с «самобытной эпопеей» уже, но познание жизни может проникать глубже в действительность. У романа как художественной формы есть свои законы: «завязка, постоянно усложняющийся интерес и счастливая или несчастливая развязка» (13, 54). Начав с того, что «все смешалось в доме Облонских», Толстой рассказывает о разрушении дома Карениных, о смятении Левина и наконец приходит к тому, что во всей России «все переверотилось»... «Усложняющийся интерес» выводит сюжет романа за пределы «семейной истории».

В «Анне Карениной» не было великих исторических деятелей или мировых событий. Не было здесь также лирических, философских или публицистических отступлений. Но споры, вызванные романом, сразу же вышли за пределы чисто литературных интересов, «как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком»<sup>3</sup>. Толки о романе Толстого сливались с злободневными политическими известиями. «О выходе каждой части Карениной», — отмечал Н.Н. Страхов, — в газетах извещают так же поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Гегель. Сочинения, т. XIV. М., 1958, с. 273.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Переписка Л.Н. Толстого с А.А. Толстой». СПб., 1911, с. 273.

<sup>4</sup> «Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым». СПб., 1914, с. 116.

«Роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен», — говорил Толстой в самом начале работы (62, 16). В последующие годы он иногда охладевал к своему роману. Но замысел «живой, горячий и законченный» вновь и вновь завладевал его воображением. А когда наконец труд многих лет был окончен, Толстой признался, что «общество, современное «Анне Карениной», ему гораздо ближе, чем общество людей «Войны и мира», вследствие чего ему легче было проникнуться чувствами и мыслями современников «Анны Карениной», чем «Войны и мира». А это имеет громадное значение при художественном изображении жизни»<sup>1</sup>. В этом и состоит «вседневность» содержания толстовского романа «из современной жизни».

Замысел Толстого, который он вначале называл «частным», постепенно углублялся. «Я очень часто, — как бы оправдываясь, признавался Толстой, — сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается»<sup>2</sup>. И успех романа оказался громадным; его читали во всех кругах образованного общества. И вскоре выяснилось, что «Анна Каренина» была встречена с осуждением в «высших сферах». М.Н. Катков решительно отказался печатать в «Русском вестнике» эпилог романа и «опустил перед Толстым шлагбаум». Уже тогда начиналось то отчуждение от дворянского высшего круга, которое позднее, после «Воскресения», привело к осуждению Толстого и отлучению его от церкви.

М.Н. Катков, лидер реакционной журналистики 70-х годов, тонко почувствовал острую критическую мысль Толстого и стремился всеми силами нейтрализовать впечатление, произведенное на современников «Анной Карениной». Но дело уже было сделано: Толстой высказался и облегчил свою совесть. Н.С. Лесков с тревогой отмечал, что за «Анну Каренину» Толстого дружно ругают «настоящие светские люди», а за ними «тянут ту же ноту действительные статские советники»<sup>3</sup>.

Изображение «золоченой молодежи» в лице Вронского и «сильных мира сего» в лице Каренина не могло не

<sup>1</sup> В. И. Алексеев. Воспоминания. — «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12. М., 1948, с. 259.

<sup>2</sup> «Литературное наследство», т. 37 — 38. М., 1939, с. 426.

<sup>3</sup> Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 10. М., 1958, с. 389.

вызвать негодования. Сочувствие народной жизни, воплощенное в Левине и в картинах крестьянского быта, также не пробуждало восторга у «настоящих светских людей». «А небось чувят они все, — писал Толстому Фет, — что этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашей строю жизни»<sup>1</sup>.

## 2

Толстой был уверен, что изменится «весь строй жизни». «Наша цивилизация... идет к своему упадку, как и древняя цивилизация»<sup>2</sup>, — говорил он. Это ощущение приближающихся коренных перемен в жизни дворянского общества постепенно нарастает в его творчестве по мере приближения первой русской революции. Уже в «Анне Карениной» появляются характерные черты кризисной исторической метафоры, которую Толстой повторял много раз и в своих публицистических высказываниях.

Красносельские скачки были «жестоким зрелищем». Один из офицеров упал на голову и разбился замертво — «шорох ужаса пронесся по всей публике». «Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: «Недостает только цирка с львами». Здесь появляется и Гладиатор — конь Махотина. Одна из зрительниц обмолвилась знаменательными словами: «Если бы я была римлянка, то не пропустила бы ни одного цирка».

«Жестокое зрелище», напоминавшее о римских ристалищах и цирках, было устроено для развлечения двора. «Большой барьер, — пишет Толстой, — стоял перед самой царской беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа — все смотрели на них».

К той же метафоре относятся и упоминания о Сафо, светской львице, в кружке которой проводит свои вечера Анна, и «афинские вечера», которые посещает Вронский.

Из разрозненных подробностей в романе Толстого возникает цельная картина «современного Рима эпохи упадка цивилизации». Это отношение к современности было характерно не только для Толстого, но и для многих мыслителей и публицистов его эпохи.

«Трудно подойти близко к истории древней Римской

<sup>1</sup> «Литературное наследство», т. 37 — 38, с. 220.

<sup>2</sup> Н. Н. Гусев. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1928, с. 190.

империи без неотвязчивой мысли о возможности найти в этой истории общие черты с европейской современностью, — говорилось в 1876 году в журнале «Вестник Европы». — Эта мысль пугает вас ввиду тех ужасающих образов, в которых олицетворилось для вас глубокое нравственное падение древнего мира»<sup>1</sup>.

И еще одна особенность «эпохи упадка» не проходит мимо внимания Толстого: самоубийства. Газеты тех лет были наполнены сообщениями и описаниями необыкновенных происшествий в городах и на железных дорогах. «В последние годы, — отмечал Гл. Успенский, — мания самоубийства черной тучей пронеслась над всем русским обществом»<sup>2</sup>. В романе «Анна Каренина» эта туча отбрасывает грозную тень на Анну, Вронского и Левина. Каждый из них так или иначе проходит через грань последнего отчаяния. Вронский стреляется, но неудачно. Левин прячет от себя шнурок, чтобы не свести счеты с жизнью в тайне своей библиотеки. Анна кончает жизнь на станции Обираловка под колесами товарного поезда. От жестоких зрелищ в Красном Селе до гибели на глухой железнодорожной станции — один шаг. «Самоубийцы и восклицания: «Хлеба и зрелищ!» навели меня на мысль, — писал Н.К. Михайловский, — сопоставить наше время со временем упадка Рима»<sup>3</sup>.

Николай Левин, объясняя своему брату Константину, что цель русской революции состоит в том, чтобы «вывести народ из рабства», сравнивает революцию с духовным движением, ознаменовавшим конец Рима: «все это разумно и имеет будущность, как христианство в первые века». Такого рода идеи были весьма характерны для революционеров-народников 70-х годов XIX века. Острая социальная критика принимала формы проповеди в духе «христианства первых веков», решительного отрицания «языческого строя жизни». «Пусть каждый поклонится в сердце своем, — писал один из активных деятелей той поры, — проповедовать братьям своим всю правду, как апостолы проповедовали»<sup>4</sup>. Семидесятники, как отмечал другой писатель той же эпохи, были «похожи на тех испо-

<sup>1</sup> «Вестник Европы», 1876, № 1, с. 374 — 375.

<sup>2</sup> «Отечественные записки», 1877, № 6, с. 575.

<sup>3</sup> Там же, 1875, № 3, с. 114.

<sup>4</sup> С.М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., т. 2. М., 1958, с. 229.

ведников, которые в первые времена христианства выходили возвещать добрую весть и так горячо верили, что умирали за свою веру»<sup>1</sup>.

Толстой с большим вниманием относился к этим идеям. Его герой Константин Левин тоже размышляет над тем, что ему сказал брат Николай: «...разговор брата о коммунизме... заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». И впоследствии, уже накануне 1905 года, беседуя с рабочими Прохоровской мануфактуры, признавая, что «нужна революция и не буржуазный строй, а социалистический», Толстой утверждал: «Все зло, о котором вы говорите, все это неизбежное последствие существующего у нас языческого строя жизни»<sup>2</sup>.

Толстой неразрывно связан со своей эпохой, что отражается и на содержании, и на форме его излюбленных идей. Но религиозная форма толстовских идей никогда не заслоняла от современников социального смысла его творчества. Он писал «Анну Каренину» в годы глубокой переоценки ценностей. Деятели освобождения, борющиеся против крепостного права, благородные и мужественные шестидесятники, верили в возможность и необходимость уничтожения рабства, у них были силы для борьбы и ясное сознание целей, они не задумывались над тем, как сложатся пореформенные условия, ограничиваясь расчисткой пути для европейского развития. В 70-е годы положение изменилось. Десять лет реформы показали, что крепостничество крепко укоренилось и уживается с новыми формами буржуазного стяжания. Прежней веры в пути и средства борьбы уже не было. Устой нового времени оказались непрочными. Появилась та черта общественного сознания, которую Блок метко определил как «семидесятническое недоверие и неверие»<sup>3</sup>. Эту черту общественного сознания Толстой уловил в психологии современного человека, и она вошла в его роман как характерная примета переходного времени. «Под угрозой отчаяния» — вот одна из важнейших формул романа «Ан-

<sup>1</sup> «Семидесятники». М., 1935, с. 252.

<sup>2</sup> «Летописи Государственного литературного музея», т. 12. М., 1948, с. 407.

<sup>3</sup> А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. — Л., 1962, с. 236.



на Каренина», изобилующего нравственными формулами. Сочувствие Толстого на стороне тех героев, которые живут в смутной тревоге и беспокойстве, которые ищут смысла событий, как смысла жизни. Он и сам тогда жил «под угрозой отчаяния».

«Все смешалось» — формула лаконичная и многозначная. Она представляет собой тематическое ядро романа и охватывает и общие закономерности эпохи, и частные обстоятельства семейного быта. Толстой в «Анне Карениной» как бы вывел художественную формулу эпохи. «У нас теперь, когда все это перевернулось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся условия, есть единственный важный вопрос в России...» Вот общая мысль, которая определяет и сюжет, и композицию романа, а также сущность перевала русской истории — от падения крепостного права до первой русской революции.

## 3

В романе Толстого все было современным: и общий замысел, и подробности. И все, что попадало в поле его зрения, приобретало обобщенный, почти символический характер. Например, железная дорога. Она была в те годы великим техническим новшеством, перевернувшим все привычные представления о времени, пространстве и движении. Жизнь героев романа «Анна Каренина» так или иначе связана с железной дорогой. Однажды утренним поездом в Москву приехал Левин. На другой день, около полудня, из Петербурга приехала Анна Каренина. «Платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от моруза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса...» Никто не мог теперь обойтись без железной дороги — ни светская дама из столицы, ни усадебный помещик.

Железнодорожные станции с расходящимися в разные стороны лучами стальных путей были похожи на земные звезды. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, Анна Каренина с отвращением глядела на входивших и выходивших — «все они были противны ей». Какая-то всеобщая разобщенность вокзальной толпы производила на современников горькое впечатление. Вспомина-

лась даже «звезда Полюнь» из Апокалипсиса, которая упала «на источники» и отравила воды (гл. 8, ст. 10—11).

Один из героев романа Достоевского «Идиот» называет «сеть железных дорог, распространившихся по Европе», «звездой Полюнь»<sup>1</sup>. Это звезда Вронского. Он в романе Толстого вечный странник, человек без корней в почве. «Я рожден цыганом, — говорит он, — и умру цыганом». Это один из толпы цивилизованных кочевников. В первый раз Анна Каренина увидела его на Московском вокзале. И в последний раз Кознышев встретил его там же, когда он уезжал добровольцем в Сербию. «В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто, в надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил, как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь». И его объяснение с Анной произошло на какой-то глухой станции во время метели. Анна отворила дверь поезда — «...метель и ветер рванулись ей навстречу и зашпорили о двери». Это был удивительный спор с какой-то бездомной стихией, которая охватывает Вронского и Анну. Именно из метели и ветра возникает фигура Вронского на станции. Он заслоняет собой свет фонаря. «Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз». «Ужас метели» казался тогда Анне Карениной «прекрасным», но уже «впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза». «Звезда Полюнь» вошла над ее судьбой.

Анна Каренина всякий раз оказывается на вокзале как бы случайно. В первый раз она села в поезд, чтобы поехать в Москву помирить своего брата Стиву Облонского с женой. И только случайная гибель сцепщика под колесами паровоза была «дурным предзнаменованием». В последний раз она приехала на станцию Обираловка, чтобы разыскать там Вронского и примириться с ним. Но уже не нашла его... Лишь «мужичок, приговаривая что-то, работал над железом». Это и была смерть Анны Карениной, когда она вдруг «почувствовала невозможность борьбы». Уже первая ее поездка, с «прекрасным ужасом метели», предвещала разрушение ее семьи. С Вронским она стала

<sup>1</sup>Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 6. М., 1957, с. 421.

бездомной, путешественницей. Она едет в Италию, мечется между Петербургом, где остался ее сын Сережа, именем Вронского Воздвиженское, где она даже в комнате своей дочери была «как лишняя», и Москвой, где она надеялась найти разрешение своей участи. Она постепенно теряет всех и все: мужа, сына, возлюбленного, надежду, память. «Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать...» Рельсы расходятся в разные стороны, как холодные лучи «звезды Полюнь». Жизнь обирает ее, и она ничего не в силах удержать. Она потеряла не только близких, не только «точку опоры», она потеряла себя. Таков и был замысел Толстого: «...ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой...»<sup>1</sup>.

Сама того не желая, Анна всем приносит несчастье. И Каренину, который говорит: «я убит, я разбит, я не человек больше», и Вронскому, который признается: «как человек — я развалина», и самой себе: «была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я», — восклицает она. И то, что она бросается поперек дороги под колеса немолимо надвигающегося на нее вагона, тоже получило в романе символический смысл. Конечно, смысл трагедии не в самой железной дороге... Но «звезда Полюнь» заключала в себе такой заряд современной поэзии, что Толстой, как поэт и романист, не мог пренебречь ее художественными возможностями.

И Каренин становится постоянным пассажиром, когда разрушилась его семья. Он ездит из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург как бы по делам службы, заполняя внешней суетой образовавшуюся душевную пустоту. Он ищет не деятельности, а рассеяния. Анна Каренина называла своего мужа «злой министерской машиной». Он не всегда был таким, ему не была чужда человечность. Но некоторая «машинальность» его привычек и убеждений прекрасно согласовалась с законами «звезды Полюнь».

<sup>1</sup> «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860 — 1891». М., 1928, с. 32.

Во всяком случае, и в вагоне поезда он чувствует себя одним из «сильных мира сего», столь же сильным и «регулярным», как сама эта железная дорога, которая в конце концов погубила Анну Каренину.

В жизни Стивы Облонского не было крутых переломов или катастроф, но вряд ли кто-нибудь из героев романа ощущал с такой остротой всю тяжесть «переворотившейся жизни». «Без вины виноват», — говорит о себе Облонский. «Жизнь вытесняет праздного человека», — объясняет Толстой. Облонскому ничего не остается, как обратиться к той же «звезде Полюнь». Потомок древнего рода, рюрикович, он входит в круг «железнодорожных королей» и надеется получить место в обществе «взаимного баланса южно-железных дорог»... «Взаимный баланс» эпохи был не в пользу Облонского и всего уклада привычной, «наследственной» и «праздной» жизни. Когда Облонский узнал, что поезд, на котором приехала Анна, раздавил сцепщика, он в смятении побежал к месту происшествия и потом, страдая, морщась, готовый заплакать, все повторял: «Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас!» Сцепщик этот был простой мужик, может быть, из его разоренного владения, путившийся искать счастья на тех же путях, что и его барин. Толстой упорно называет сцепщика мужиком. И Анна увидела его во сне, в вагоне поезда, на обратном пути в Петербург. «Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно закрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась...» Не поезд, а сама эпоха уносила, разлучала, подавляла и раздирала кого-то. Железная дорога у Толстого — не только подробность современной жизни, но и глубокая символическая реальность.

Левина, ворвавшегося в полушубке в купе первого класса, где удобно расположился Каренин, едва не выпроводил кондуктор. И Левин «поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок». Сцена эта вполне в духе 70-х годов. «Никто, отправляясь в путь, не может быть уверен, — писал обозреватель «Отечественных записок», — что его... не высадят где-нибудь на дороге... с каждым пассажиром не только каждый начальник

станции, но и каждый обер-кондуктор, даже кондуктор распоряжается, как с принадлежащей ему вещью»<sup>1</sup>. Статья заканчивалась именно теми словами, которые сказал Каренин: «До сих пор не существует никаких правил, которые бы определяли права пассажиров».

Соль этого эпизода состоит именно в том, что «звезда Полюнь» его, Левина, не принимает. Если тема Анны Карениной ярче всего воплощена в зимней метели на глухой станции, то тема Левина сливается с музыкой мощной весенней грозы, когда он вдруг ощутил присутствие нравственного закона в своем сердце и увидел живые вечные звезды над своей головой. При каждой вспышке молнии звезды исчезали, а потом, «как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах».

## 4

«Мне теперь так ясна моя мысль, — говорил Толстой в 1877 году, завершая работу над романом. — Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную вследствие войны 1812 года...»<sup>2</sup>. Конечно, и в «Войне и мире» есть «семейная хроника», и в «Анне Карениной» есть «картины народной жизни». Но для каждого романа нужна была своя, особенная любовь. «Мысль семейная» для 70-х годов XIX века особенно актуальна. «Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, — признавался Ф.М. Достоевский, — молодое поколение, и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад»<sup>3</sup>.

Толстой видел несомненную связь между разрушением социальных основ современного дворянского общества, построенного на традициях наследственности и преемственности, и распадом семейных устоев. Не только семья Каренина, но и семья Облонского разрушается на глазах. Один Левин сравнивает себя с весталкой, хранительницей огня. Облонскому даже сам обычай венчания в церк-

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1876, № 2, с. 281.

<sup>2</sup> «Дневники С.А. Толстой. 1860 — 1891». М., 1928, с. 37.

<sup>3</sup> Х. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. М., 1912, с. 65.

ви кажется нелепым: «Как это глупо, этот старый обычай кружения, «Исаия, ликуй», в который никто не верит и который мешает счастью людей!»

«Старый обычай» был основан на идее нерасторжимости брака. Этой точки зрения придерживается в романе Каренин. Он не в состоянии найти достаточный повод для того, чтобы дать развод Анне, потому что мыслит по-старому. Вместо развода он предлагает ей прощение. И тем самым «мешает счастью»... Со своей стороны, Анна, требуя развода, мыслит по-новому. И сталкивается не только с противодействием Каренина, но и с законом, который оставался прежним, требовал «нерасторжимости». Вопрос о разводе тогда уже был поднят в обществе, как вопрос актуальный и жизненный. Это было новое веяние времени. И для современного романа оно представляло огромный сюжетный интерес. «В вопросе, поднятом в обществе о разводе, — говорилось в черновиках романа, — Алексей Александрович и официально и частно всегда был против» (20, 267). Мысль Каренина, по существу, очень близка Толстому. Поэтому легко заметить, что нередко, в особенности в сцене прощения и примирения с Вронским у постели умирающей Анны, Толстой рисует Каренина с явным сочувствием и замечает даже, что в те минуты, когда он находил в себе силы быть великодушным, он поднимался «на недостижимую высоту». Однако Алексей Александрович терпит поражение. Брак, который он хочет удержать законом, все же распадается. Остается только внешняя сторона хорошо налаженного быта. Он признается себе, что уже «ненавидит сына», которого «должен был любить в глазах людей, уважающих его» (20, 267). Поэтому Анна имела основание сказать, что он, «как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи».

«Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, — говорит Толстой, — фактом совершившимся, тогда как несчастье никогда не бывает событие, а несчастье есть жизнь, длинная жизнь несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни — потеряны» (20, 370). Каренин ни в чем не был виноват перед Анной, но она не пожелала разделить с ним «счастье прощения». «Я не виновата, что Бог меня создал такою, что мне нужно любить и жить», — говорит о себе Анна. Но слово «вина» не сходит у нее с

языка. «Я не виновата», — повторяет она в то время, как чувство трагической вины захватывает ее. И своему мужу она ставит в вину «все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была перед ним виновата», — пишет Толстой.

Каренин стремится сохранить хотя бы обстановку счастья, но из этого ничего не получается, кроме новой лжи. Облонский был кругом виноват перед своей женой Долли. Но она приняла его покаяние, решив, что худой мир лучше доброй ссоры. Обстановка счастья была такой ценой сохранена. А смысл жизни — счастье — тоже оказался утраченным. Это стало особенно ощутимым, когда Долли с детьми приехала в имение:

«На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кровати перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые — тугосиси; ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, — все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, — весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их». Перечисление того, чего не было, посвящает нас в заботы, занятия и даже в образ мыслей Долли. Так могли увидеть деревенский дом в Ергушеве она и ее дети, беспомощные в большом хозяйстве без хозяина. Вся усадьба смотрит на нее как «страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался».

От проблемы семьи Толстой естественно переходил к проблеме частной собственности и государства. В этом смысле деятельность Каренина, «государственного человека», занятого писанием «никуму не нужных проектов», и «распорядительность» Облонского, который привел в

упадок и запустение свое наследственное достояние, представляли для него огромный интерес. То были не только романтические, но социальные и исторические подробности эпохи. Описание Ергушева в «Анне Карениной» совершенно совпадает с тем, что писал о дворянском землевладении в 70-е годы один из самых проникательных публицистов той эпохи, А. Энгельгардт. В письмах из деревни он отмечал, что «хозяйничать в настоящее время невозможно... имения ничего, кроме убытка, не дают. ...никто в деревне не живет, никто хозяйством не занимается, все служат, все разбежались, и где находятся, бог их знает»<sup>1</sup>. Так раскрывалось конкретное значение общей формулы «у нас все это переверотилось и только еще укладывается...».

Разрушение семьи, а точнее — семейного и социального уклада дворянства, было в глазах Толстого признаком глубокого кризиса всего общества в целом. Но он не был разрушителем семейного начала. Напротив, он утверждал, что в «Анне Карениной» больше всего любил именно «мысль семейную». Ему нужен был идеал «трудоной, чистой, общей и прелестной жизни». И этот идеал его герой Левин находит в народной жизни. На сенокосе Левин внимательно присматривается к Ивану Парменову. Тот принимал, разравнивал и отаптывал огромные навалины сена, которые ему ловко подавала его молодая красавица хозяйка. «В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь». Только здесь Толстой видел гармонию и смысл жизни и обстановку счастья. «Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к своей жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную и праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Без Левина не было бы и романа. История Анны Карениной обретает свое настоящее значение в свете духовных и социальных исканий Левина. Не случайно именно Левин лучше других понимает эту трагедию.

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1876, № 1, с. 85 — 88.



И только от него Анна «не хотела скрывать всей тяжести своего положения».

Критическое начало в романе «Анна Каренина» тем особенно сильно, что оно рельефно рисуется на глубоком фоне положительных идеалов Толстого. А его положительные идеалы неразрывно связаны с народной жизнью. Левин «точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж не мог выбраться, не отворотив борозды».

## 5

В романе логика событий складывается таким образом, что возмездие следует по пятам за героями. Толстой говорил о нравственной ответственности человека за каждое свое слово и каждый свой поступок. К роману он взял грозный эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но он писал не притчу, не иллюстрацию к библейскому изречению, а современный роман. Некоторая «фатальность» не только социальных, но и личных отношений представлялась Толстому тайной, которую не могут понять отдельные люди, как бы они ни были умны, но которая разрешается временем, когда постепенно открывается внутренняя связь близких причин и далеких следствий. И здесь опять народная точка зрения была для Толстого определяющей. «Унижением, лишениями всякого рода им (народом) куплено дорогое право быть чистым от чьей бы то ни было крови и от суда над ближним», — пишет Толстой (20, 555). Поэтому мысль эпиграфа складывается из двух основных понятий: «нет в мире виноватых» и «не нам судить». Мать Вронского сказала об Анне Карениной: «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала себе подлую, низкую». И Кознышев ответил ей: «Не нам судить, графиня. Но я понимаю, как для вас это было тяжело».

Левин сначала, не зная Анну, строго осуждал ее. Но потом, увидев и поняв ее, задумчиво произнес: «Не то что умна, но сердечна удивительно. Ужасно жалко ее». Толстой не искал «виноватых», он старался понять, а значит, и простить «невиновных». Он не признавал за графиней Вронской и за всей «светской чернью», приготовившей «комки грязи», права быть судьей Анны. «В ответ на суд

толпы лукавой скажи, что судит нас иной»<sup>1</sup>, — эта мысль Лермонтова была очень близка автору «Анны Карениной». Толстой не хотел быть ни адвокатом, ни прокурором Анны. Но был летописцем, не пропустившим ничего из трагедии ее жизни. Идея возмездия, выраженная в эпитафии, отнесена не только и даже не столько к истории Анны и Вронского, сколько ко всему обществу, которое нашло в лице Толстого своего сурового бытописателя. «Во всем возмездие, во всем предел, его же не преидеши» (48, 118). Эти слова Толстого являются ключом к художественной системе его романа.

«Толстой указывает на «Аз воздам», — пишет Фет, — не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей»<sup>2</sup>. «Сказано все то, что я хотел сказать», — заметил Толстой по поводу статьи Фета об «Анне Карениной» (62, 339).

«Анну Каренину» Толстой называл «романом широким и свободным». В основе этого определения — пушкинский термин «свободный роман». Не фабульная завершенность положений, а творческая концепция определяет выбор материала и открывает простор для развития сюжетных линий. Жанр свободного романа возник на основе преодоления литературных схем и условностей. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным лицам известные границы — как-то женитьба или смерть, — признавался Толстой. — ...Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (13, 55). Роман «Анна Каренина» продолжался и после гибели его героини — Анны Карениной. Больше того, Левин на протяжении почти всего романа не видит Анну Каренину. «Связь постройки, — отмечал Толстой, — сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (62, 377). А внутренние отношения истории Анны и Левина определяются закономерностями самой жизни, взятой во всем ее историческом своеобразии. Так что история Анны неотделима от истории Левина, если говорить о ро-

<sup>1</sup> М. Ю. Лермонтов. Оправдание. — Собр. соч., т. 1. М., 1964, с. 101.

<sup>2</sup> «Литературное наследство», т. 37 — 38. М., 1939, с. 234.

мане Толстого как о художественном единстве. Смерть Анны и жизнь Левина, сумевшего преодолеть «угрозу отчаяния», в равной мере освещены светом «самобытно-нравственного» отношения Толстого к действительности. Поэтому Толстой и говорил, что «цельность художественного произведения заключается в ясности и определенности того отношения автора к жизни, которое пропитывает все произведение»<sup>1</sup>. В «свободном романе» есть не только свобода, но и необходимость, так что нельзя взять из него одну какую-то часть, не нарушив целого.

«Закон природы смотрит сам // За всем...» — привел Фет строку из Шиллера, говоря об «Анне Карениной»<sup>2</sup>. И с этим Толстой также был согласен. Он заботился о том, чтобы сохранить живое дыхание жизни в своем произведении. И называл свой излюбленный жанр «романом широкого дыхания»: «как бы хорошо писать роман *de long halein* (широкого дыхания), освещая его теперешним взглядом на вещи» (52, 5).

Каждое новое произведение Толстого было настоящим открытием для читателя. Но оно было открытием и для автора. «Содержание того, что я писал, — признавался Толстой, — мне было так же ново, как и тем, которые читают» (65, 18).

Роман «широкого дыхания» привлекал Толстого тем, что в «просторную, вместительную раму» без напряжения входило все то новое, необычайное и нужное, что он хотел сказать людям.

*Э. Бабаев*

---

<sup>1</sup> «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, с. 60.

<sup>2</sup> «Литературное наследство», т. 37 — 38. М., 1939, с. 238.

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожителстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте;

нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: *Il mio tesoro* и не *Il mio tesoro*<sup>1</sup>, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом вся драма, — думал он. — Ах, ах, ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, начало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

<sup>1</sup> Мое сокровище (*итал.*).

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, откаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

## II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, про-

стая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. — И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяя! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыть. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

— Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

— На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: — От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга.